

Ольга Рёснес

РАССКАЗЫ О МАЛЕНЬКИХ ВЕЩАХ

В КРАЮ ДАЛЕКОМ

Ровно в полдень, когда солнце пробирается под замшелый камень и высвечивает тесное под ним, сырое помещение, наступает время озабоченности и беспокойства для коротающей день жабы. Она сидит под камнем одна, больше доверяя собственной осторожности, чем безразличию окружающего мира, и отлучается лишь по ночам, чтобы с рассветом вернуться и застыть землистым комком под низким, холодящим спину и бока, сводом. Хотя ни боков, ни, тем более, спины жаба у себя не замечает, все это приписывают ей люди: она остается, ну что ли... прямой кишкой. Набитым всякой всячиной мешком, пищеварительным трактом. И все ее мысли проистекают от происходящего внутри: бульканья, спазмов, отрывки. Такой драматичной оказывается ее жабья жизнь! И хотя никто этому не завидует, даже нищие земляные лягушки, у жабы есть все основания считать свою жабью долю счастливой: она ест, растет, квакает. «Что значит мир в сравнение с моим замечательным камнем? —

часто думает жаба, предаваясь пищеваению, — За исключением комаров и мошек и ловить-то в мире нечего. Куда ни глянь, всюду солнце, тень стала дорогостоящей, прохлада отпускается только по знакомству, и даже вода, и та нынче без гнили... Одно утешает: старое насиженное место, тут мне и разлагаться...»

Жаба считает прожитые полнолуния, считает проглоченных комаров, и хочется ей только больше того же самого... еще больше... и она с трудом протискивается под замшелый камень. Камней поблизости много, их натаскал с дороги садовник, и все они охраняют, как могут, большую цветочную клумбу. По ним карабкается повитель и мышиный горошек, атакуя разросшиеся по краям петунии, но камни все это терпят, втайне мечтая обрасти мохом и серым кустистым лишайником и охотно подставляя бока солнцу. «Невежды, — думает про них жаба, закрывая в темноте глаза, — Твердокаменная тупость! Ведь это я, забираясь под них, даю им какое-то в жизни значение. Я, с моими бородавками!» Увидев однажды свое отражение в маленьком пруду, жаба изумилась собственной красоте и прыгнула от восторга в воду: шлёп! Нырнув под корягу и взмутив на дне ил, она забилась под корни камыша, не смея признаться себе в исключительности своего жабьего благополучия: ряска, тина, гниющая на дне листва.

И поскольку плыть было особенно некуда, жаба и не пыталась: к чему напрасные волнения. Сидя на дне пруда и изредка выпуская пузырек воздуха, она лениво посматривала на жуков-плавунцов, гонявшихся в воде за комариными личинками, и сдавалось ей, что все устроено в мире как нельзя лучше: только разевай по необходимости пасть. Ранней весной пруд наполняется жабьей икрой, похожей на комья рыхлого снега, и в жабьей глотке клокочет раскатистое «Ква-а-а...», в сравнение с которым не идет даже суетливое кваканье ближайших родственников-лягушек. Жаба, впрочем, с ними не знает, с этими лягушками. И если ей случается порой проглотить головастика-другого, родня не смеет на это жаловаться: зачем выносить сор из пруда. Только камыш, насквозь прошивающий пруд своими нитками-корнями, и шпионит порой за жабой, высматривая у нее признаки какого-то пола... Ну какой может быть у жабы пол? Во всяком случае, сама жаба не метала икру, нет. И кое-какие пятна на брюхе подтверждают, что пол у жабы — сильный.

На траве еще лежит сверкающая утренняя роса, и жаба нехотя выползает из укрытия, нехотя карабкается на обросший мохом камень и, закусив разлегшимся под листом петунии слизняком, продвигается в гущу зелени. «Не так-то это глупо, — размышляет она, — эта цветочная клумба,

тут всегда есть, чем поживиться, и тут всегда так сыро...» Не видя для себя никакой угрозы, петунии пораскрыли алые и белые граммофоны, и к ним летят наперегонки мошки и бабочки, и среди них — голубая, как незабудка, стрекоза. Сев на самый край цветка, стрекоза принимается охорашиваться, задевая когтистыми лапками то выпуклый глаз, то невесомое крыло, то подтягивая к жвалам кончик брюшка, и цветок от этого заливается радостным румянцем и исходит изнутри сладким соком: цветок не прочь посвататься. И стрекоза, конечно, только того и ждет и тут же выбалтывает тайны своего приданого: она, заметьте, эта зеленая мошка, богата. Сидя внизу на земле, жаба оказывается свидетелем стрекозьего авантюризма и легкомыслия: недвижимость цветочной клумбы вот-вот уплывет куда-то в лес, и дальше леса, дальше пшеничного поля, и еще дальше... так далеко, что дальше некуда! Отныне цветочная клумба становится островом среди кувшинок и белых плавучих лилий, в чужом к тому же озере. «Мир, стало быть, велик, — заключает жаба, — и в нем немало других комариных мест. И хотя сидеть под камнем надежнее, — жаба сглатывает еще одного слизняка, — надо ведь когда-то проветрить мозги!» И жабье воображение тут же подсказывает ей: «Проветрить прямую кишку!» Вслух же жаба произносит следующее:

— Смотаюсь на выходные... нет, в отпуск. Камень пока подождет, не растает. И если задние ноги короче передних, надо ползти иноходью... главное, не спутать правое с левым...

Под этим своим камнем жаба просидела почти сорок лет. И все это время к ней присматривался садовник, держась на почтительном расстоянии и обращаясь к ней на «Вы». Однажды он измерил жабу сантиметром, и оказалось, что Падда — на редкость крупный самец. Жабе понравилось это имя, Падда, и всякий раз, услышав его, она думает: «Во мне аж двадцать сантиметров!» Двадцать сантиметров прямой кишки.

В свои почти сорок лет Падда не верит ни в прожорливых аистов, ни в журавлей, хотя лягушки рассказывают всякое. Раз, правда, на пруду завелась утка: кое-как набросала в кусты веток, села на яйца. Потом пришел кот и съел всех утят, и с тех пор порядок на пруду ни разу не был нарушен: ряска, тина, комары. «Родина, — размышляет Падда, переваривая слизняка, — там, где тебе хорошо, и много поэтому в мире родных мест, пока еще не известных, но вполне для благополучия пригодных. Болота, канавы, пруды. Клоаки. В клоаках, говорят, встречаются даже благородные металлы... Хотя что может быть благороднее жабьих бородавок. И если уж быть патриотом, надо постоянно укреплять свой аппетит: чтобы всегда хотелось кушать». Падда

сглатывает еще одного слизняка.

Собираясь в дорогу, Падда проверил, все ли бородавки на месте, и, обнаружив одну новую, счел это хорошей приметой: шишка на лбу есть лучшее подтверждение жабьей мудрости. В мире существуют, конечно, и другие жабы, и кавалеров среди них неизменно оказывается больше, чем дам, но двадцатисантиметровых, как Падда, лишь считанные единицы. «Красавец, — скромно подумал он о себе, — милашка!» И поскольку никто вокруг не смеет даже на Падду глянуть, дело всегда оборачивается в его пользу: его пропускают, не глядя, вперед.

Но вот наконец и дорога. Бывало и раньше, слоняясь по вечерам в поисках слизняков, Падда забредал сюда, рискуя быть раздавленным копытом лошади или колесом велосипеда. Дорога ведет мимо поля в лес, и дальше, мимо другого поля, мимо пчельника... Но так далеко Падда никогда еще не забирался. И вот он шагает, то есть, ползет, шлёп-шлёп, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. И кто-то тоже странствует в темноте, оставляя в воздухе запах вождения и голода, и чья-то стремительная тень накрывает собой жабу... но нет, сова пронеслась мимо. И снова, шлёп-шлёп, вперед, в пахнущую приключениями темноту. Внезапно налетевший вихрь переворачивает Падду набок, и, наученный

сорокалетним опытом, он тут же втягивает голову в туловище и заслоняет ее передними лапами: то ли камень, то ли комок навоза. Понюхав жабу, собака с отвращением фыркает и бежит дальше, а Падда с облегчением думает: «Я ведь хитрее, и моя хитрость так искренна, так правдива!» И снова, в тишине и темноте, шлёп-шлёп...

На рассвете выпала обильная роса, и Падда забился под листья одуванчика, ценя в дороге комфорт: как следует намочнуть, а потом уж в пыль. Тут можно вполне отсидеться до следующей ночи, но нетерпение зовет Падду вперед и в даль. Это, пожалуй, что-то для него совершенно новое, нетерпение, с его-то жабым соседством. Хотя лягушки рассказывают, что бывали и среди них всякие авантюристы, забиравшиеся то в ведра, то в садовые лейки, и кто-то даже залез ради острых ощущений в бочку с раствором суперфосфата и там от изумления окаменел... да, бывало всякое. Но лягушки, с их мелочной придирчивостью к погоде, не годятся для великих жабьих дел.

Держась поближе к влажной еще траве, Падда зашлепал по дороге дальше. Солнце уже поднимается над лесом, но еще не жжет, и словоохотливые мотыльки, порхая над клевером и сурепкой, весело болтают при виде Падды о преимуществах невесомости и даже, о ужас, нематериальности... они ведь просто насмеются

над ним! «Земля, — думает Падда, — одна только земля и есть правда, все же остальное, — он поймал зазевавшуюся мошку, — одни только мечты, мечты... Мечты есть самое великое в жизни зло, они отрывают нас от почвы. И если кто-то, назовем его Отцом, и сотворил, к примеру, жабу, то только ведь исключительно ради унавоженности почвы. И нет поэтому более высокой в жабьей жизни миссии, чем быть прямой кишкой. И этот, скажем так, Отец сотворил жабу по собственному образу и подобию. И все наши жабы поколения, от отца к отцу, наследуют широкую, до ушей, пасть и бородавки, эти отличительные знаки нашей избранности. Нет отца, кроме Отца, и жаба — его пророк!» Укрепившись таким образом в своем жабьем достоинстве, Падда разинул беззубую пасть, и в нее тут же влетел ошалелый от солнца комар.

— И вас, — пригрозил Падда бабочкам, — я тоже когда-нибудь съем!

Становится жарко, и поблизости нет ни одного камня. Зато прямо у обочины валяется трухлявое бревно, оставшееся после прошлогодней вырубki, и Падда тут же забирается под него, втиснувшись в прореху между стволом и корой. Он лежит и думает о преимуществах лежания, а также о выгоде ползанья: чем ниже, тем надежнее. И самым надежным было бы, конечно, зарыться с головой в землю.

— Какая скука, — прожужжала, подлетев к бревну, дикая пчела, — полное отсутствие фантазии! Кромешная тьма!

Пчела присела только на миг, чтобы лететь с медовым грузом дальше, и это свое мгновение она безвозмездно дарила теперь жабе.

— Не понял, — сердито квакает Падда и высовывается из щели. Высунул длинную переднюю лапу, потом короткую заднюю, потом бородавчатый бок. Пусть эта мошка увидит, как он велик и солиден. Пусть к тому же имеет в виду, что он постоянно голоден.

Пчела собралась уже лететь, гудя прозрачностью крылышек, она вся лучится теперь и сияет, в золоте меда и пыльцы, она вся — как маленькое солнце. И Падда думает, что это должно быть слишком большая жадность гонит ее от цветка к цветку, заставляя таскать на себе груз и мотаться туда-сюда... вон как раздуто ее брюшко! «Обжора, — заключает Падда, глотнув слюну, — гурманка!»

— Зарплата-то как, сносная? — вяло интересуется он, больше из вежливости, — Отпускные? Премии? Бонусы?

Пчела изумленно таращит на него подслеповатый глаз: этих вещей она не понимает. Она родилась обыкновенной рабочей пчелой, строящей шестигранные соты и наполняющей их

медом, и вся ее радость состоит исключительно в том, чтобы угодить скрывающейся в улье пчелиной матке.

— Я и мои сестры, — сверкая на солнце янтарным брюшком, доверительно жужжит она, — трудимся ради любви! Мы собираем самое лучшее, самое редкое, то, чего в мире так мало, и мы несем это другим, мы отдаем...

— Но сами-то вы разве не едите этот... — Падда брезгливо поморщился, — ... этот мед? Он ведь, я слышал, сладкий!

— Нет, нет, разве что самую малость...

— Тогда это просто глупость, глупее некуда, — уверенно заключает Падда, — с утра до вечера трудиться и ничего с этого не иметь! Я бы, к примеру, съел все сам. Кстати, что это такое, любовь?

Падда никогда о любви не слышал, и когда приходилось по весне выпускать в пруд сперму, только считал похожие на жгуты икринки, складывая тысячи с миллионами: производство, производство и еще раз производство. Наследственность, похожесть, повторяемость. Отбросы, само собой. Падда и сам не раз поедал собственных головастиков, поедал и выпускал новую сперму. И в этом заключается правда жабьей действительности. Единственная в мире правда.

— Любовь есть бескорыстная отдача своей

сладости, — воодушевленно жужжит пчела, — своего солнца! И нет никакой за это награды, кроме любви! Цветок отдает мне свой сладкий сок, я отдаю ему свой пчелиный яд...

— Вот-вот, — перебивает Падда пчелу, — не делай добра, не получишь и зла. Этот твой мед, он весь пропитан ядом! — тут он вспоминает о своих бородавках, выделяющих наружу жгучую слизь, — Мой тебе совет: кончай с этой благотворительностью, забирайся под камень!

И Падда проглотил, в назидание пчеле, ползшую по бревну мошку.

Дождавшись вечера, он снова пополз, держа курс в сторону озера, и встреченные им по дороге жабы, кто на охоту, кто с охоты, хвалили влажные комариные места. И уже на закате солнца он добрался до воды, и тысячи головастиков шарахнулись черным облаком с отмели в глубину. Вот где всамделишный жабий рай!

Со всех сторон озеро окружает густой еловый лес, местами совсем не тронутый вырубкой, и только присыпанная гравием тропинка напоминает о чьем-то владении и заведенном порядке. Тропинка ведет от дороги к берегу, мимо деревянной купальни и причала с единственной лодкой, и дальше, к широкой солнечной поляне, где роскошно цветут на клумбах прирученные дикие растения. Тут, похоже, собрано всё, что безопасно и

безмянно таится в лесу и на лугах, и каждому растению полагается каменная табличка с латинским названием, и ни один цветок не мешает другому. Даже неподъемные валуны, обраставшие мохом не одну сотню лет, и те это признают: тут царит, как ни странно, равновесие. К цветам подлетают пестрые бабочки, и птицы выют в кустах жасмина, сирени и бузины свои гнезда, и множество стрекоз носится в воздухе, дразня солнечный свет радужным ликованием прозрачных крылышек... тут всё признается всему в любви!

Затаившись в тени под папоротником, Падда молча глазеет и соображает. За все свои почти уже сорок лет он ни разу не сомневался в прочности жабьих устоев. Земля и лежащие на ней камни, экскременты и слизь. Все же остальное было только карикатурой на жабий миропорядок: птицы, собаки, люди... Хотя в людях Падда находил порой что-то родственное себе и позволял поэтому измерять себя сантиметром. Он слышал от других жаб, а те слышали от знакомых, что половина людей ползает на коленях, тыча носом в землю и задрав к небу зад, и мудрость подсказывала Падде, что с этой половиной человечества у жаб общее будущее. Вот так, под руководством жабы, мир станет наконец земным, погребенным в почве.

Сидя под папоротником, Падда начал было считать, сколько стрекоз пронеслось в ту сторону,

сколько в эту, но сбился со счета, увидев голубую, как незабудка... она была здесь! Должно быть, ради нее и был устроен весь этот цветущий сад, ради ее короткой, как лето, жизни. Сколько бессмысленного труда, сколько никчемных затрат! Куда лучше было бы завалить это место камнями... у Падды даже зачесались бородавки. А еще лучше — как следует поляну заболотить и дать всему сгнить, всем этим люпинам, василькам, макам, лаванде, жасмину... а потом уже метать среди тины икру: тысячи, миллионы, миллиарды новых жаб! «Главное, — с удовлетворением рассуждает Падда, — настойчивость и планомерность. Внедриться самому, потом перетащить семью, — он стал припоминать лежавших с ним в тине жаб, — и только плодиться, плодиться... пока местное население не окажется в меньшинстве. Построить Великий Жабий Храм, из перегноя и экскрементов, и пусть самая горластая из жаб квакает восемь раз в сутки с высокой башни, созывая остальных к приятному времяпровождению...» Заметив круглого, как пузырь, слизняка, Падда напряженно замирает, мысленно уже глотая добычу. Слизняк, однако, продолжает заниматься своим делом: впихивать в оранжевый рот большой кусок мухомора. Задача прямо-таки не из легких, но мухомор так сладок, что лишаться ужина нет никакого смысла, и

слизняк начинает снова и снова, и наконец, едва не лопнув, пропихивает мухомор вовнутрь.

— Ну вот, — удовлетворенно сообщает он Падде, — наелся. Теперь под лист лопуха и отоспаться.

Прикинув, с какой стороны лучше схватить добычу, Падда все же отказался от своего замысла: вместе с проглоченным мухомором слизняк был слишком кругл. И чтобы как-то компенсировать неудачу, он спрашивает слизняка напрямик:

— Есть ли тут, в вашей стране, что-нибудь стоящее?

От резкости поставленного вопроса слизняк вытянулся было длинным языком, едва не выдавив съеденный гриб обратно, но тут же снова округлился, будучи от природы дипломатом. Такие, как этот, вопросы хуже битого на дороге стекла, от них следует уползать. И слизняк поэтому промямлил что-то о погоде, о количестве выпавших за лето осадков, и только потом, осторожно выпустив оранжевые рожки, сознался:

— Есть.

Все, какие есть у Падды бородавки, разом набухают болотной злобой. Чтобы какой-то там слизняк, по милости случая уцелевший, выбалтывал свои скользкие истины? Жабья мудрость, она же мудрость навоза и перегноя, на том и стоит, что под нею нет ничего стоящего! Ничего. И нет поэтому

ничего прочнее жабьего в мире порядка.

— Как это... есть? — с угрозой переспрашивает Падда, снова примеряясь к слизняку.

— Ну... так, виртуально. К примеру, мухоморы, ну еще бледные поганки... сморчки.

Широкая жабья улыбка сглатывает все, какие есть у слизняка, страхи: пасть разинулась до самых ушей. Имей слизняк хоть немного прыгучести, он тут же бы в пасть и прыгнул, но приходится соблюдать приличия. На всякий случай спрятав рожки, слизняк добавляет вскользь:

— Еще голубые стрекозы, у каждой в глазу бриллиант.

Падда и раньше слышал, что случается в природе такое: у кого-то вдруг обнаруживается некондиция. К счастью, такое редко наблюдается среди жаб, и сам Отец должно быть об этом позаботился, заранее избивив жабий род от мук перемен. И если бы, к примеру, Падда стал вдруг бриллиантовым или хрустальным, он умер бы от стыда и позора. «Стало быть, эти стрекозы... — с негодованием думает Падда, — Они сверкают! Тут следует срочно навести порядок, и не на месяц-другой, но порядок тотальный, вечный!»

Выбравшись к ночи из гущи папоротников, Падда подался, шлеп-шлеп, к озеру. Вдоль тропинки на ветвях елей, сосен и можжевельника

развешены жестяные, под стеклом, фонарики, и в каждом из них неспешно горит свечка, выпрашивая у леса о его таинственных ночных перспективах. На старой березе, замершей возле деревянной купальни, тихо позвякивает стеклянный колокольчик, нежно дрязня ночной ветерок, и возле самого берега, спускающегося каменным языком к воде, плавает большая желтая луна. «Сколько ненужной роскоши, — размышляет Падда, загребая передними лапами воду, — и даже эта вода пахнет цветами!» Он никогда раньше не плавал по глубокой воде, и теперь, не чуя под собой дна, гребет наугад в темноту, и звезды, глядя на это со своих высот, наперебой дают ему советы: решительнее, смелее! Он, впрочем, не подает виду, что советы эти ему полезны и только недовольно квакает: «Подумаешь, далекое!» Гораздо ближе теперь луна: она домогается спермы и нового расплода. Луна обещает стать еще ближе, врезавшись однажды в землю, в самое большое из всех болот, обнадежив жабий род услугами прогрессивной наследственности: в прямой кишке могут однажды появиться... извилины. И хотя до этого пока далеко, Падда и теперь, пересекая лунную дорожку, примечает кое-какие для себя неудобства: он находится теперь... выше почвы! Выше камней с прилепившимися к ним ракушками, выше песка и тины, выше холодных и теплых

течений... И луна, словно желая усилить его панику, поднимает воду в озере все выше и выше...

Утренний отлив донельзя обрадовал Падду: все стало, как и прежде, мелким и плоским. В маленьких лужах кое-где бьются о камень рыбки мальки, и Падда мимоходом глотает одного и другого, скорее из великодушия, чем от голода, и осадившие мелководье головастики немедленно признают в нем своего кумира: такой крупный и справедливый. Впрочем, дюжина из них тут же оказывается в прямой жабьей кишке, но это придает лишь остроту всеобщему восхищению. Почти все охотно отдали бы за Падду свою, ни рыба ни мясо, жизнь, а те, кто пока колеблется, плавают для маскировки на боку.

— Станем же профессионалами! — зычно квакает Падда, и несколько комаров с перепугу сами залетают к нему в рот, — Жабий порядок — не для дилетантов! Есть у кого-нибудь возражения? Нет? Ни одного возражения? Тогда мы принимаем единый для всех закон: коллективное самоубийство ради продолжения рода.

Головастики, включая и тех, кто сидит еще в икре, единодушно проголосовали «за». Не служить больше пищей ни рыбе, ни жуку-плавунцу, ни проклятому зимородку, а люди пусть сами разбираются с погодой: никаких «ква-ква». От бури аплодисментов озеро чуть было не вышло из

берегов, захлестнув волной восторга прибрежные камыши, и Падда подумал, что это и есть доказательство жабьей чести, совести и ума.

На одной из камышинок висит, греясь на солнце, личинка стрекозы, и утреннее тепло расстегивает ее изношенную одежду, давая солнцу заглянуть вовнутрь, и вот уже из треснувшей вдоль брюшка щели медленно выползает новорожденная стрекоза. Она пока еще бледная и вялая, и сил хватает только на то, чтобы выползти... и вот наконец, прицепившись к своему старому дому, она повисает над водой, вкушая первую от солнца пищу. К ней медленно подступают краски, притекая из воздуха и из воды, и ее выпуклые глаза наливаются то зеленым, то голубым, и наконец в них засверкали, как капли росы, бриллианты. Тысячи граней! Тысячи призм!

Ослепленный, Падда отползает в сторону, он возмущен и растерян. Выходит, зря он сидел почти сорок лет под камнем, зря копил в себе темноту. Его жизненный опыт теперь посрамлен и поставлен под сомнение какой-то букашкой: нисколько не считаясь с его неумным жабым голодом, она... расцветает!. Распускается, качаясь на стебле камыша, разворачивает отливающие радугой лепестки-крылышки, сияет на солнце. На нее смотрят застенчивые желтые кувшинки, покачиваясь среди глянцевиных, лежащих на воде

листьев, и белая водяная лилия, короной раскрывшаяся на утреннем солнце, восхищенно ахает: «Вот и еще одна принцесса!» Даже ряска, и та бормочет в воде что-то доверительное и трогательное, и вода в связи с этим цветет, пропитая тонкими нитями тины, и застрявший в водорослях жук-плавунец падает от восторга на дно.

— Надо подготовить общественное мнение, — деловито распоряжается Падда, развернувшись широкой пастью к елозящим на мели головастикам, — Мобилизовать средства массовой, а также секретной информации, взмутить как следует воду. Пусть знают те, кто ничего пока еще не знает: отныне озеро становится жабьим прудом, полеты стрекоз отменяются, одиночное кваканье запрещено...

— А как насчет солнечных ванн? — робко интересуется белая водяная лилия, подплыв к берегу. Она только что распустилась и не знает поэтому всех правил хорошего тона.

— За это полагается высшая мера наказания, — бесстрастно замечает Падда, глядя на лилию в упор. Он знает, что к жабьему взгляду невозможно привыкнуть: этот взгляд пытается, домогается, насилует. Харизматический такой прищур. Главное, чтобы тот, на кого смотришь, считал себя безмерно виноватым, хотя бы даже и

без всякой на то причины: виноват и точка, — Вот ты, например, почему ты такая белая?

Головастики засуетились, забеспокоились, кто-то даже решил добровольно сознаться в том, что был когда-то прозрачным, но в целом мнение было таково, что надо активнее чернеть: чернеть и еще раз чернеть.

— Но... — не зная, что и подумать, начинает было лилия, но тут же захлебывается и уходит под воду.

— То-то и оно, — наставительно заключает Падда, — виновный сам себя выдает. У кого еще есть претензии на белизну?

Головастики молча сбиваются в кучу. Их профессионализм пока еще не таков, чтобы выползть с ним на сушу. Хотя есть среди них и такие, кто охотно променял бы озерные просторы на тесноту пересыхающей лужи: оттуда скорее можно было бы дать деру.

— Нет претензий? Тогда приглашаю всех, — тут Падда широко, как учила его жизнь, улыбается, — на публичную казнь!

Среди головастиков немедленно пронесся слух о высшей, какая только может быть, мере: оказаться замоченным. То есть никогда уже не вылезать из воды сухим. Не выбиваться даже в лягушки. Просто мокнуть и киснуть. Эта мера была придумана Паддой на случай слишком уж

большого со стороны окружающих любопытства: «Откуда вообще берутся жабы?» Любопытство могло быть случайным, а могло оказаться и злонамеренно затяжным, с привлечением неподобающих достоинству жабы сравнений. Бывает ведь, что жабу сравнивают с премьер-министром и даже с генеральным секретарем, при этом забывая, что человеческое жабе совершенно чуждо. Взять, к примеру, садовника: что он, со своим разумом? Всего только от и до. От урожая до посева. И жизнь его при этом чуть длиннее жабьей, а то и короче. И если уж на то пошло, человеческий идеал сводится к проглоченному средствами массовой информации некрологу. Разве станет жаба на такое размениваться? Навоз куда ценнее пустых о смерти слов.

— Кого будем казнить? — дерзко подплыв к жабьей пасти, интересуется головастик-подросток, уже считающий себя лягушкой.

Проглотив вместе с тиной смельчака, Падда шагнул по головам и вертялым спинам в заросли камыша. Каким величием, какой значительностью рябят по мелководью его шаги! Даже затесавшимся среди головастиков поэтам не снилось такое, как это поэтичнее выразиться, себяёбие: шлёп, шлёп и еще раз шлёп! Дошлепав до камышинки с прилепившейся к ней стрекозой, Падда задирает,

насколько позволяет отсутствие шеи, пасть и дипломатично квакает:

— Слезешь сама или мы пустим в ход передовую технику?

Стрекоза только косит на него бриллиантовым глазом. Она висит над самой водой, порядком уже обсохнув, и по ее прозрачным крылышкам то и дело проходит радужная дрожь. «Боится, — с удовлетворением заключает Падда, — так и надо. Страх есть лучшее от невесомости средство, и самый полезный для дела страх, это страх высоты!» Он подумал еще, что стрекоз надо есть с хвоста, оставляя глаза на десерт, и это золотое правило следовало внести в новое жабье законодательство. Какой-то комар пискнул было о своем комарином праве согреться налету чужой кровью, но Падда пообещал отменить и это: кровь отныне должна в жилах... стечь.

Глядя снизу вверх на стрекозу, Падда примечает нечто для себя необычное: он сам становится как будто легче, наполняясь то ли воздухом, то ли ложными о жизни представлениями. И хотя все по-прежнему на месте, включая бородавки и слизь, что-то чуждое, да, почти человеческое, застревает, как комок тины, в жабьей глотке: что-то вроде... восторга!

Ни разу за свои почти уже сорок лет Падда такого не испытывал, он ведь не готовился в люди.

И теперь было уже поздно квакать и звать на помощь погоду, которая к тому же была солнечной. «Солнце...» — с изумлением думает Падда. Оно стоит, полуденное, в зените, оно жжет. Оно домогается взаимности. Оно любит. И все, какие еще остаются в мире привязанности, всё бескорыстие и восхищение, все смотрит теперь с высот, нисколько при этом не смущаясь уродством Падды. И кажется ему, жабе, что его бородавчатая кожа треснула на спине и на затылке, и под нею засверкал, как капля росы, алмаз... Последняя... первая в жизни влюбленность!

Стрекоза тем временем прихорашивается, то перебирая коготком радужную прозрачность крылышка, то жуя тонкий ус. Она стала совсем голубой, и выглянувшая из камышей незабудка, погадав на своих лепестках, сообщила родне, что выходит... ах, выходит! Незабудка шепнула при этом ветру: «Не забудь... не забывай!» И ветер тут же подхватил стрекозу и понес на другой берег озера, где тоже цвели незабудки и раскрывались коронами белые водяные лилии.

— Но как же я? — потеряв стрекозу из виду, булькает в тине Падда и пускает по воде пузыри, — Мне больше так не жить... не жить в темноте! А где, спрашивается, жить? Или лучше совсем не жить? Жить или не жить?

— Вот так, была и нету, — сочувственно

поддакивает незабудка, сочувствуя, впрочем, себе, — а ведь счастье было так близко!

— Да ведь это совсем рядом, этот, другой берег, — неожиданно для себя подбадривает незабудку Падда и сам удивляется своей отзывчивости, — шлёп-шлёп и там! Я, пожалуй, схожу туда сам, сплаваю, хоть даже и на голодный желудок! Нет такого далекого края, который был бы слишком далек... — тут Падда запнулся и еле слышно квакнул, — ... для любви!

Теперь и ему светит, добираясь до самых жабьих костей, солнце. Оно ведь, солнце, повсюду, в земле и в камнях и на самом дне озера, оно никуда ни на миг не отлучается. И даже зимой, подо льдом... теперь-то Падда знает наверняка: ни одна лягушка не зимует без солнечных запасов. И даже двадцать сантиметров прямой кишки, и те оказались бы без солнца всего лишь... жабой! «Почти сорок лет, — распластавшись в теплой воде, думает Падда, — я добирался сюда, в эту далекую даль, и только затем, чтобы согреться... да оно и теперь не слишком-то тепло, учитывая отдаленность другого берега. Значит, снова далекая даль? Но дальше-то, дальше... что?»

— Не забывай... — шепчет ветру незабудка, — ... не забудь!

Выбравшись на каменистый берег, Падда решает идти в обход, мимо купальни, причала и

водяного насоса, мимо привязанной к просмоленному столбу лодки, по росистой среди елей тропинке. Шлёп-шлёп, и к вечеру уже там. Он не думает больше о предоставленных самим себе головастиках, и даже жужжащие в тени комары его больше не интересуют, и даже оставленный где-то вдали замшелый камень не имеет больше никакого значения. «Вот так, без дома, без родины, — с незнакомым ему прежде смирением думает Падда, — так и перестаешь быть жабой... ква! Так можно отрастить, пожалуй, ноги и даже крылья, и если придется когда-нибудь умереть...» Тут Падда натывается на что-то, гораздо более, чем он сам, приземленное: тяжелый, с железной подковой, ботинок. Подавшись было в сторону, Падда натывается на второй такой же ботинок и понимает, что препятствие это — неодолимое. Остается только притвориться комом земли, застыть, втянуть голову в туловище, заслонив ее лапами. Лежать и ждать, покрываясь холодной слизью страха.

— Какая редкостная уродина, — перевернув Падду на спину, сообщает один прохожий другому, — должно быть, ядовита... эта жаба!

— Наступи на нее и черт с ней, — нехотя отзывается другой, отвязывая лодку.

Занеся уже для удара ногу, прохожий медлит: стоит ли марать ботинок. Ботинок совсем новый и, несмотря на толстую свиную кожу, достаточно